

И ИНОСТРАННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-4654

16+

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

2014

8

“СТОЛЕТИЕ  
ВЕЛИКОЙ  
ВОЙНЫ”

РОМАН  
ТОНИ  
МОРРИСОН  
“ДОМОЙ”

Основан в 1955 году



**SHOUT**  
**SHARE IT**

# Annotation

Фрагменты книги писателя и журналиста Паоло Манелли (1891–1984) «Башмаки на солнце». Хорошие люди и преступные будни войны. Перевод Ольги Поляк.

- [Паоло Монелли](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

**Паоло Монелли**  
**Башмаки на солнце**  
**О веселых и грустных приключениях**  
**солдат альпийских стрелковых**  
**войск, о мулах и о вине**  
**Фрагменты книги**



*От автора*

Среди альпийских солдат «выставить башмаки на солнце» — значит погибнуть в бою. Правда, из этого вовсе не следует, что в моей хронике военных происшествий речь пойдет лишь о павших. Многие из нас вернулись домой и снова зашагали по дорогам жизни. А потом раздался призыв к новой битве — совсем другой битве, за другие идеи. Мы тогда уже были не такими, как прежде, мы вышли с пепелища прошлого, к которому нет возврата и которое всегда будет напоминать о себе незаживающими ранами. Раны эти глубже окопов вдоль склонов гор, притихших и вновь

опустевших после нашего ухода. Мы отдали войне все, что у нас было, — да, именно так: война отняла у нас целую жизнь, точь-в-точь как пуля отняла жизнь у тысяч наших товарищей, не дав поблажек и тем, кто носил ордена в петлице. Наша молодость — простодушная, искренняя, бьющая через край — выставила башмаки на солнце, когда мы отбивали у врага последнюю пядь земли; с тех пор прошло два года, но, кажется, это было давным-давно.

Написав эту книгу, я долго не мог напечатать ее; прозорливые издатели целый год отказывались от рукописи, ведь война вышла из моды и рассказывать о живых и о мертвых, попавших к жестокости в западню, стало считаться дурным тоном. Ну а что если книги о войне и впрямь старомодны и безвкусны и людям нет дела до оживших призраков-юнцов, что слагают песни о чести и долге?

Но это не так, я уверен. Мое повествование, конечно, не откроет новой правды о военных буднях и тем более не претендует стать барометром нынешней жизни. Однако нет сомнений, что все-таки найдется человек — затерявшийся в городской толпе или сбежавший от людей к альпийским перевалам, — который, не стремясь к славе и почестям, в те лихие годы просто выполнял свой долг и до сих пор носит в душе невысказанную боль. Именно ему эту свою книгу — продиктованную сердцем — я подношу так, как мы подносили вино и песни случайному гостю, с которым делили свой ужин.

*Берлин, февраль 1921 г.*

### ***Рождество 1915 г.***

В воздухе пульсирует тревога.

Старшина с командиром полка горячо перешептывались в столовой. Потом явился командир двести шестьдесят четвертого, они уже втроем принялись о чем-то совещаться, нас же, подчиненных, отправили созерцать звезды. Но вместо этого мы пошли в остерию повидать белокурую Марию да брюнетку Джузеппу, а заодно угоститься розовым салорно, дабы укрепить свой дух перед завтрашним праздником.

Мы навеселе. Ну что делать будем? Куда пойдем? Глаза блестят, в голове сумбур, и кажется, будто тело пустое и невесомое. Гарбари говорит:

— Панаротта — вон она, эта гора. Оттуда каждый вечер палят по долине.

Командир отдает распоряжения.

В полночь трогаемся. Долина окунулась в лунный свет, суматоха, суетливые проводники, мулы, солдаты, ящики с провизией и патронами. Холод собачий. Белесые звезды.

Шагаю, словно в забытии, по лунным тропам. Впускаю в сердце горстку воспоминаний о доме, далеком и родном, думаю о том, с каким упоением буду рассказывать про подвиг, что свершается в эту минуту. Солдаты бредут молча, лишь иногда кто-то чертыхнется, а кто-то с кем-то тихо перебросится парой слов под треск пальбы. Дребезжит походный котелок, покачивается на плече товарища ружье — вот границы нашего мира, ничего больше не существует.

Идем шесть часов без передышки, доходим до долины, куда не проникает луч солнца, — со всех сторон обступили заснеженные склоны. Завтра в бой — и строго смотрит сверху небо, и стужа лютая. Устраиваемся на постой в разграбленной деревушке. Солдаты усмеваются, глядя на нескладные кресла из ивовых прутьев. А офицеры потешаются над любовными письмами, обнаруженными в комнате хозяйки. Мне достался опрятный белый домик, спальня в стиле рококо, с овальным зеркалом, низким диваном. Но топот солдатских сапог по дощатой лестнице — вверх и вниз — гонит сон прочь.

Ночью будем атаковать позицию, которой и в глаза не видели. Мы должны добраться туда по извилистым, утопленным в сугробах лесным тропкам. Исследуем карту, чтобы прояснить хоть что-то. Солдат из пехотного полка, уже давно стоящего в этой долине, знает местность как свои пять пальцев (странно, почему же тогда в атаку посылают наш полк, а не их?); он добродушно замечает, что карта врет и только сбивает с толку, в ней больше погрешностей, чем подсказок и ориентиров. Но делать нечего, доверимся собственному чутью, это наш первый бой, да и негоже осуждать командира. И вот мы присоединяемся к нестройному пенью взвода, который с шиком устроился в этом деревенском гнездышке:

Смелей, друзья, в атаку,  
Отбросьте всякий страх!

В девять часов вечера покидаем передовой пост. Над нами бархатное, ясное небо.

— В полночь выйдет луна.

В полночь выкатилась луна. Густой лес, сквозь который мы настороженно пробираемся (схваченный морозом снег скрипит и стонет под нашими тревожными шагами), наполняется

кружевными тенями и мягким светом. В душе растет щемящее, томительное чувство, что сродни грусти. Где-то в далекой комнате стоит кровать, до краев полная сном, вот бы сейчас свернуться калачиком под одеялом — в любом из здешних домов — и заснуть... До чего же охота есть, и от стужи зуб на зуб не попадает! Пиф-паф. Пальба.

Кусачий мороз, а сердце вот-вот выскочит наружу. Первая перестрелка: так значит, война и вправду началась, запустила свой маховик, проглотила тебя в свою утробу. И ты там, внутри. Пути назад нет. Еще вчера в это трудно было поверить, мы бравировали, играли, ставя на кон жизнь, уверенные, что можно отыграть назад; мы сорили словами, с языка слетали «героизм» и «жертва», о чем мы не знали ровным счетом ничего. А теперь мы на войне. И нами играет судьба. Сквозь ночь пробивается сизый рассвет, мы в смятенье, будоражат неисполнимые желанья. Интересно, о чем думают остальные?

Дзанелла сбросил свою всегдашнюю маску невозмутимости — теперь его лицо сияет, словно освещенное изнутри радостью, и это ликование лучится во все стороны. Он как охотник, почуявший дичь. Говорит:

— Ну, посмотрим кто кого!

И дважды стреляет в воздух, направляя дуло поверх опушки леса.

Чувствую, как внутри у меня что-то обрывается, — и нет больше беспокойства, ум безмятежен и ясен, как перед учебными стрельбами.

Где же враг? Вялый рассвет. Дозорный отряд истомился от пустого ожидания. Прибегает лейтенант Фрескура, раскрасневшийся, веселый, с ним еще четверо; он отдает какие-то распоряжения и снова исчезает в чаще. Затрещали ружья, стонет раненый, день лениво поднимается над макушками деревьев, я опять изнываю от безделья. Третьему взводу несут паек.

Пулеметы. Рокочут где-то совсем близко. Подтягиваются солдаты — из тех, что ранены легко и держатся на ногах.

— Эй, там нужно подкрепление. Вот и подошел ваш черед.

Идем в глубь сражения. Плотными шеренгами, вперед.

Неужели это хохочет смерть — вот так, завывая и присвистывая, хрустя искалеченными ветвями деревьев, протяжно шипя гранатами в небе? А потом тишь.

Возвращаемся ошалевшие и — живые, оттого счастливые. После боевого крещения я слегка охмелел, а вот майор впереди показал себя молодцом, ни единой оплошности — и все пули пролетали мимо, потому что Бог всегда хранит мудрых и храбрых

майоров. Он берет раскуренную трубку у командира дивизии, который встречает нас возле дырки в заборе, хмурый, недовольный, злой. Говорит, что у нас слишком мало погибших. И что нужно было любой ценой отбить у врага позицию. Ведь отыскать ее, вооружившись картой, — сущий пустяк (тычет в карту, которая все врет и пестрит ошибками). Однако наш командир, верно, не учел, что ночью темно, хоть глаз выколи, и что на поиски злополучной вершины, похожей на тысячи других, он послал батальон, который не успел толком разведать эти места. Ну да, все это он упустил из виду, и теперь ему следовало бы повиниться. А он стоит, словно изваяние, на снежной тропке и смотрит, насупившись, как мы шагаем мимо. Потом зарычал мотор, и командир, вальяжно раскинувшись на сиденье, покатил в свои хоромы. Неровен час, вражеская артиллерия доберется и сюда, так что ему лучше побережься. Расстилаю спальный мешок на низком диванчике в своей комнате рококо. Сквозь прорехи в крыше моргают звезды. <...>

### ***Апрель 1916***

Вот это и есть война. Война — это не когда жизнь висит на волоске или когда красный сноп искр, что мечет граната, слепит тебя и затягивает в гулкую воронку («И словно тот, кто, бегом утомясь, / Из спутников рад пропустить любого, / Чтоб отдышаться...»<sup>[1]</sup>). Война — значит быть марионеткой, которую дергает за нити неведомо чья рука. При этой мысли кровь стынет в жилах и больно сжимается сердце.

Сидеть как проклятый в окопе, пока кого-то из товарищей не пришлют тебе на смену... избавление приходит, когда его уже не ждешь, и застигает врасплох, словно вражеский обстрел или снежная буря; быть на прицеле у опасности, что подкарауливает на каждом шагу, волочить на ногах кандалы судьбы, которая зависит от номера твоего взвода и глубины окопа; и не дозволено снять рубашку, когда хочется ее снять, и не дозволено написать письмо домой, когда хочется писать, ведь все в твоей жизни, вплоть до унижительных мелочей, подчинено распорядку, — вот что такое война. Корреспонденту, который заглядывает в окоп, чтобы понаблюдать за нами, все это невдомек. Войны не знает и чиновник, вешающий нам на грудь медали. Когда чиновник голоден, или чем-то встревожен, или доволен проделанной работой, он достает из кармана часы и заявляет: «Поздновато уже, пора бы закругляться». А если он ненароком подцепил вшей, то спешит домой мыться.

— Кастельнуово горит, — замечает Порро.

И совсем близко, где-то в долине, раздается знакомый треск ружейной пальбы, и с глухим рокотом рвутся бомбы.

— Атакуют из долины.

— Нет. Это в Понтарсо, горит пороховой склад.

Теперь кляцанье ружей доносится сверху. Кто-то говорит:

— Это лейтенант Гарбари с арьегардом, отражает атаку.

— Значит, они уже подобрались совсем близко, черт бы их побрал! Спать охота, глаза слипаются — но какой уж тут теперь сон.

Все молчат. Бредем сквозь темноту, которая пышет красным, месим грязь со снегом, медленно ползем вверх по крутой и вязкой горной тропке. Усталость, скопившаяся за долгие ночи без сна, наваливается и давит на плечи вместе с рюкзаком, ноги заплетаются. В животе четыре сухаря, а в душе пусто и горько от расставания с тем, чего уже не воротишь. Короткие привалы — солдаты плюхаются в снег, и спустя мгновение уже слышен чей-то храп — лишь еще больше изматывают. От голода урчит в животе, но припасы нужно расходовать бережливо, ведь может статься, что вместо пайка в Мальга-Ла-Коста мы получим приказ двигаться дальше. Даже браниться нет сил. Просто переставляем ноги и ни о чем не думаем. Сон расставляет свои сети, сладко растекается в теле, щекочет веки и предательски нашептывает о блаженстве. Ну разве не бессмыслица все это — отступление, огонь, опасность атаки? Охалка соломы, костерок — и на боковую, а во сне видишь родной дом, где постель такая просторная и теплая.

Студеная ночь, продырявленная пулями и косматая от языков пламени, тает и выцветает, и над горами занимается сизый, угрюмый рассвет.

Лес редет. Вот показался холм и две фигуры, впечатанные в небо. Часовые. Мы на месте.

— Кто идет?

— Альпийские солдаты.

— Пароль.

— Боже правый, да ради всего святого, протри глаза: мы из альпийских стрелковых войск. О Матерь Божья, до чего ж ты непутевый!

Этот просторечный выговор кажется часовому вполне убедительным.

— Проходите.

Еще немного вперед, и вот майор — разговаривает с каким-то

толстяком в капюшоне. Полковник, наверно. Скупые, сердитые приказы. Солдаты сбились плотными рядами. Без толку ставить палатки, все уже спят как убитые. Кроме нас, пришла еще одна рота и два батальона, отступавшие с другой стороны гор. Вокруг толкотня и неразбериха: обозы, упрямые мулы, погонщики чертыхаются, с глухим стуком подковывают лошадей. Ночь на исходе, небо на востоке светлеет, исполосованное облаками.

— Иди сюда, Монелли, если не прочь поспать. Палатку поставили.

Растянувшись на брезенте, под жестким пологом, по которому украдкой постукивает дождь, с крепко сжатыми кулаками, мы наконец проваливаемся в сон.

Рывкнули подъем (даже во сне кошмару не было конца, и мы всё шли и шли), и, не успев продрать глаза, мы смыкаемся в строй, перекличка, уходим. Перекусили сухарями, полпайка. Дождь. Шагаем под мокрыми елями, из которых сочатся холод и уныние. По вылинявшему небу не понять, который час, — вечные сумерки испарениями поднимаются с земли и сползают с облаков. Идем к неведомо каким горам, где на позициях нет ни колючей проволоки, ни даже окопов, — и вот здесь мы должны дать отпор врагу, который прорывается все дальше. На подъеме нас накрывает снегопад — крупные хлопья падают отвесно, ветра нет, — и все становится постыло, снег запылил душу тоской по ясному небу и теплу.

И вот эта неприметная горстка людей, что карабкаются по снеговому склону, продираясь сквозь непогоду, — ведь они твои защитники, Италия. Эти оборванцы не дают прожорливому врагу подступиться к тебе, напоенной весной; спелые вишни красуются на солнце, а между тем беда стучится в дверь, но ты даже в ус не дуешь, — повзрослевшие девочки стыдливо и гордо выставляют свои маленькие груди, а те, кто отсиживается в тылу, щеголяют в новых соломенных шляпах. Так цветите же, прелестные юные итальянки, и пусть ничто не потревожит ваш покой, ну а вы, пригревшиеся в тылу, мирно спите в мягкой постели. Упитанные дельцы становятся еще упитаннее и не знают забот — те самые, что присылают нам гранаты, которые не рвутся, и башмаки, которые рвутся после первой же примерки. Здесь, на передовой, всех вас защищает Дзоллет — хромой старик, который на чем свет стоит клянет свой артрит и бережет как зеницу ока винтовку, и завтра он не сделает ни единого промаха, потому что смазал винтовку жиром из своих пайковых консервов. Здесь на вашей защите стоит Чеккет: двадцать лет он проработал на немцев и, когда закладывает мины, бормочет по-немецки, говорит «Fertige

Feuer»<sup>[2]</sup>, как его научили в силезских шахтах. Правда, упрямец он еще тот — когда идет на дело со своим отрядом, отказывается тащить пулемет. Не подведет и Зманиотто, раненный уже трижды, и Ческо тоже, единственный сын старушки, которая торгует фруктами на одной из улочек Примолано и высылает ему по пять франков в месяц. Ребята хоть куда, бойкие на язык, но серьезные, если случится попасть в переделку; на войне им приходится несладко, они стали грубее и смотрят на мир печально и удивленно. И даже не мечтают, что когда-нибудь станут учить новобранцев, как наш лейтенант. А если повезет и их не заденет пуля, целых две недели в году они смогут пить до потери сознания, не опасаясь карабинеров. Какими же благами наградила этих солдат родина, которая теперь прячется за их спинами и которая, словно мачеха, отправила их в шахты Вестфалии и в Галицию и порой манит назад, призывая поплотнее набить походные рюкзаки? Впрочем, представление о родине укоренилось в них в виде чувства долга — чувства смутного, но питающего все их поступки. Категорический императив. Вот что значит долг. Они усвоили это еще подростками, поскольку выросли среди гор, где жизнь не дает поблажек и крепится на жестком каркасе, которого не смять и не повалить; этот каркас — смена времен года, вздорный нрав стихий, разного рода препятствия, преодолеть которые помогают сметливый ум и труд. Единственная утеха для натруженного тела — обнять девушку, на которой потом придется жениться, и это тоже долг, да выпить вина и забыться, сбросить ярмо: вот почему все они пьют. А отдых — это когда смотришь на нитку дыма, что поднимается из раскуренной трубки на фоне гор или синевы далей, которые не зовут к себе. В горах особенно не разживешься, вот многие и едут за тридевять земель, а там их ждет тяжелый, неблагодарный труд среди чужих людей, не вызывающих доверия, подчинение правилам странным и бессмысленным, — ступаешь на этот путь, знать не зная ни своей цели, ни куда он тебя заведет, бредешь в неведомые края и в итоге никуда не приходишь, потому что в конце тебя ничего не ждет; иные умирают в пути. Так пролетает жизнь, вступает в свои права старость и нашептывает, что хорошо бы вернуться в родные места и, успокоившись наконец душой, смотреть сквозь струйку табачного дыма на синеву далей, которые не зовут к себе. Грубовато вылепленные горной жизнью, мальчишки пришли на войну, где все так же строго, скудно и неказисто, как дома — все тот же непреложный долг, — и принесли с собой свою отвагу, серьезную и неколебимую. А неясное чувство сродства с этой землей, которую они наловчились рыть, с деревьями, которые они

привыкли рубить, колоть и тесать, с камнями, которые они умеют обтачивать и гранить, — это и есть их любовь к родине.

Они сквернословят, отмеряя шаги, — для полкового священника это не секрет — ведь крепкие слова и богохульства, подстроенные под ритм ходьбы, служат целительным снадобьем от усталости. Точно так же они отмеряют вдохи и выдохи, склонясь над пулеметом, и стреляют, шумно и ритмично выдыхая на спуске курка. Терпкая ругань отодвигает затвор винтовки, если его заело, разламывает пополам жесткий сухарь, помогает натянуть задубевшие на морозе башмаки, откупоривает бутылку граппы, подаренную шофером, — он приехал из деревни, и вокруг него разливается тепло дома и хлева, — потому что бранные слова раздувают твой внутренний огонь.

А уж если лейтенант не пересыплет свою речь крепкими словцами, никто его и не услышит, да и десять штрафных ударов розгами — псу под хвост, если полковник Рани от души не подкрепит их пинком.

Того же мнения и Турин, у которого спина шире шкафа и крупная бритая голова на короткой шее (под Сант-Освальдо в голову ему попал осколок снаряда, слава Богу, что на Турине тогда была каска — иначе пиши пропало, и вот теперь, в благодарность небесам, он никогда эту каску не снимает).

— Хватит пить, Турин.

— Вы просите меня о невозможном, господин лейтенант.

— Раз так, то хотя бы не маячь у меня перед глазами выпивши.

— Не вопрос, господин лейтенант.

— Увижу тебя пьяным — посажу в карцер, так и знай.

— В карцер, как же так? Лучше уж отвесьте мне подзатыльник, да покрепче, не скупитесь, непутевый Турин заслуживает хорошего подзатыльника, раз не сумел уберечь свою голову!

Сидим на снегу до полуночи. Но так недолго и обморозиться, поэтому в три снова трогаемся. Шагаем к перевалу, под дождем, в грохоте сражения, которое идет в долине.

Белый рассвет, хрустящее от мороза утро и солнце на вершине горы — в общем, все не так уж плохо. Но война не дает передышек.

Быют тревогу. Подступает неприятель. Пальба, треск винтовок, на скорую руку сооружаем укрепления. Голодно. Ночью снова боевая тревога, вьюга, стужа — значит, теперь не выспимся вовек? <...>

Снег падает на снег. Снегом порошит линиялое небо, снегом сыплет бледная земля, над которой стелется ветер, снегом занесены блиндажи. Начинается наша война с зимой — с ее смертями, с ее ранами.

Успели соорудить лишь несколько убежищ, ноги отнимаются, а виной всему холод и вьюга, да и материалов для постройки маловато. Снеговые коридоры ведут к убежищам, выдолбленным в скалах, темным и затхлым норам, где пламя свечи силится прожечь удушливый полумрак и приготовлены подстилки для озябших, грязных и промокших насквозь солдат. С продовольствием здесь наверху перебои, приходится туго: не успели наладить канатную дорогу, как неприятель парой выстрелов умудрился свести на нет все старания. И вот ящики с провизией, подвешенные к веревке, вязнут в пухлом снегу, взвод Бенетти затаскивает их на уступ скалы.

Когда снегопад прекращается и туман уходит, устилая ущелья и долины, из расплескавшегося по небу света выныривают горы, изумленные, опрятные, ладные. Робкие, как девушки, они купаются в лазури, в озерах без берегов — совсем еще юные, стряхнув с себя снежные одежды, они вдруг стали такими ласковыми. А солнце льет белые лучи на гребни, свивая им мудреные прически. Даже в оскале зубчатых вершин проглядывает лукавство: искры скользят по ледяным доспехам, которые смастерил для гор ветер. И отступает все, что скопилось на задворках войны: окопы, трудные переходы; склоны, точеные, ясные и белые, совсем не предназначены для войны, ведь они не что иное, как искусное сплетение перевалов, по которым нарядная фея из сказок поднимается к себе в хрустальный чертог.

Так может, это ты, раздосадованная фея, насылаешь лютые снежные полчища на людишек, что бесстыдно замарали войной твои кружева?

Рассвет будит солдат, поднимает неприятеля, и снег снова истоптан, запачкан, испещрен следами, помечен мочой, кровью, долгими бороздами.

Вот тут-то лавина и готовит нам западню, с вышины катится гул, глухой рык накрывает долину. Врасплох, безрассудно, нелепо — лавина несется не там, где еловый лес стал бы ей преградой, но подминает под себя сколоченные на скорую руку бараки, недавно проторенные тропы, убежища, выросшие там, где их посеяла война.

И нет защиты, нет хитрости, что помогла бы отвести беду. Лавина крушит кухню, стойла, навес для мулов, штаб. От

снежного рева становится жутко, выбегаем наружу и прислушиваемся, кто-то кидается в мягкие потоки снега и спешит на помощь товарищам, оказавшимся под снегом, а сверху между тем снова пахнуло бедой. Заметив лавину, стрелок в лагере противника наставляет дуло на макушку горы и давай палить.

Напрасно он это? Да нет, он исполняет свой долг: вредить нам везде и повсюду. А мы приучены платить ему той же монетой, вместо того чтобы хныкать и жаловаться на его бесчинства. И даже не догадываемся, какие всходы даст в мирное время эта наша привычка равнодушно убивать и что станет с теми, кого мы научили истреблять людей спокойно, не задумываясь. Когда приходим на Кауриол, неприятель, как и положено, досаждают нам, стреляя по ящикам с провиантом, настигая пулями в самых неожиданных местах, — вот так убили капитана, до смерти напугали врача, он укрылся под деревом, застыв в позе «Мария на развалинах Карфагена», и потом улепетывал во всю прыть, придерживая рукой штаны. Тогда мы решили: за каждого нашего солдата — полтора солдата с них. И тоже давай палить. Палить — значит вести прицельный огонь, устроившись за камнем или любым другим прикрытием; ждешь, пока кто-нибудь появится, или просто высунет из блиндажа голову, или вылезет наружу, ни о чем не подозревая. И тогда равнодушно спускаешь курок... это даже не назовешь войной и ничью жизнь отстаивать не нужно. Так подбивают дичь, так стреляют по мишени в тире. Жестоко, верно? Однако через неделю они перестают нам докучать.

Однажды спускаюсь в окоп, там один из наших целится, прикинув к снежной стене.

— Что подельываешь?

— Только что уложил немца.

— Молодчина. А дальше?

— Вот выжидаю, когда его дружки выползут — тогда им тоже крышка.

Простите меня, уважаемые деятели Красного Креста — вы, что чинно сидите на стульях, нагретых теплом тел, вокруг столов, крытых зеленым сукном, и сочиняете правила гуманной войны. Мне не в чем упрекнуть солдата, который отстреливал немцев, — больше того, я с радостью составил ему компанию и, взяв ружье, привалился к плотному снегу, и тоже стал ждать — словно охотник, который стережет зверя.

Все ценности вывернуты наизнанку. Колочая проволока, корки льда, снова ряды колючей проволоки: тот, кто за ними, для меня больше не человек, а кукла, движущаяся мишень, полая — с

вынутой душой — марионетка, и крик боли рвется не из живого существа, он мечется в воздухе сам по себе и не связан с раненой плотью, он сродни голосу ветра, который скулит в щелях. Нас даже не понадобилось обучать азам военного ремесла, первый день на фронте ничем не отличался от нынешнего. В декабре 1915-го в Карбониле Де Ладзер косил немцев одного за другим — он проделывал это так же непринужденно, беспечно и играючи, как возле Де Чет месяц назад Далле Муле отправлял на тот свет немецких солдат: они подрывались на минах.

Но это вовсе не означает, что мы ожесточились и загрубели, ведь нам по-прежнему жаль уставшего мула, чьи грустные глаза просят пощады. Или взять хоть Пьянецце, он отдал всю свою порцию хлеба отупевшему от голода пленному — тот вцепился в кусок ногтями.

Ну да, мы не ожесточились, пожалуй... И все же солдаты, целящиеся из укрытия, истребляют священные вековые устои — ценность человеческой жизни, братство всех людей, — утверждая новый устав. А ведь у многих из них дома по пятеро ребятишек — вот у Дамина, к примеру, — или восемь младших братьев да в придачу мать-вдова, как у Ческина, который очертя голову бросается в атаку. Из дома им шлют письма, почта доставляет на фронт открытки, выведенные заботливой материнской рукой, — кроткие и терпеливые весточки от матери, для которой ни политика, ни общественный долг не имеют значения; она пишет по-чешски или по-венгерски те же слова, что пишут на венецианском диалекте матери Дзанеллы и Россетто: слава Богу, что сынок цел и невредим, а еще про домочадцев и скотину, про братьев, которые тоже на фронте и тоже живы-здоровы, «на этом кончаю, чтобы не отнимать у тебя драгоценное время, остаюсь навеки с тобой, любящая мать, обнимаю».

И вот эти самые открытки, сбереженные в тепле за пазухой, мы столько раз видели рассеянными вокруг убитых после сражения. Помню фотокарточку, которую я заметил в ворохе писем возле венгерского солдата: на снимке мать и сестры — пять цветущих девушек с беспечными лицами, а в центре женщина, в глазах у нее скорбь, в опущенных уголках рта горечь и боль, загнанная глубоко внутрь, и простое крестьянское лицо уже кажется благородным, красивым. Эта усталая женщина превращается в символ материнского мужества и смирения, ведь такие же матери, как она, ждут сыновей, что сражаются во враждующих армиях, и слышать не желают доводов в оправдание войны: пропади все пропадом, если сын не вернется с фронта; их жизнь — терпеливое ожидание, которому наступит конец только с концом войны.

Так давайте сохраним жизнь вон тому сыночку, что от нас на расстоянии ружейного выстрела, — выходит, сегодня мы сентиментальны? Что поделаешь. Но мы все равно должны выиграть войну.

Радуюсь, точно школьник на каникулах, беру трехдневную увольнительную и прямиком в Италию — да и кошелек совсем отощал и нужно его набить. В поезде каждый неприметный жест молодой попутчицы читается как намек на романтическое приключение — солдаты нашего взвода, ездившие на побывку, рассказывали о таких приключениях, ну а чем я хуже? Чуть робею: все вокруг понимают, что я оттуда, с гор. А если родной дом слишком далеко, навещаешь верную подругу, от чьей нежности — а мы уже забыли, что такое нежность, — покалывает сердце. Впрочем, даже верная подруга не в силах понять нас и совсем не замечает синей орденской ленты в петлице, но шелк ее неубранных волос — точно невод, который тащит в изнурительное забытие, подальше от тревог и тягот жизни.

А между тем жизнь — она только здесь, именно здесь, в перепуганном мире, среди ссутулившихся белых деревьев, возле реки, что ползет тихой струйкой под ледяной броней. Манят наши унылые берлоги, выдолбленные в серых скалах, — внутри тепло, свет. Тут, наверху, между строгих горных громад, только мы: солдаты и мулы. И еще непреклонность нашей судьбы, которой мы равнодушно покоряемся. Страхи, надежды — все это далеко и суетно. Ты тоже, милая, далеко, а память о тебе — суета. Тоска, закутанная в мягкий снег, копится и в сердце, поверь. Нет ни будущего, ни прошлого, а одно лишь настоящее, катишься по нему, как по лыжне, бесконечной, ровной, бегущей по склонам, послушным ходу лыж. И солдатская нора со свечой в горлышке бутылки, с запахом влажного дерева столов — главное пристанище нашей вчерашней печали.

Сколотили среди елей часовенку, чтобы отмыться от греха богохульства. В часовенке сладковатый дух обструганных досок, крыша покатая, с резьбой, на алтаре имена погибших. Однако рождественскую мессу священник отслужил под открытым небом, падали редкие снежинки, а туман скрывал нас от глаз неприятеля. Туман заволок и горы, где наши дома, и вершину Аста, и долину, все было далеко — родина, семья, друзья, и впустую мы искали их в закоулках своих продрогших душ, сегодня в такое уже трудно поверить. В этой ледяной пустыне с нами только Бог.

Молимся Богу, который нас хранит и сделает так, чтобы все вернулись домой целыми и невредимыми, ведь в глубине души мы хорошие ребята; ну а если вернуться не суждено, пусть Бог пошлет нам смерть легкую и быструю, как нашим товарищам Моранди и Монегату.

Лыжи, тишь.

Но с хребта целится враг, над головой визжат пули. Предупреждает. Внизу Италия, лежащая за горой Павионе, думать о ней больно и приятно.

### *Январь 1917*

Лыжи вспахивают снег на склонах. Вдалеке четкие контуры Доломитовых Альп, украшенных бриллиантами из льда, с черными отвесными скалами, похожими на мраморные колонны собора: нежатся на солнце. На снегу дрожат полосы лучей. Лучи жмутся к склонам, исчерченным бороздами от прокатившихся лавин, к остепенившимся под снежными шубами деревьям, убегают в прозрачную даль — пока небо не спустилось совсем низко, впитав все в себя. Под солнцем похорошели даже наши временки и засверкали стеклами оконце; в сугробе задохнулась граната. Это праздник в честь нашей молодости, чистоты и искренности. Мы живем среди гор, как отшельники, мы счастливы и подкрепляем вином и незатейливыми мечтами свою постоянную готовность жертвовать жизнью. После зимовки — как-никак это тоже война — наступит весна и принесет с собой кровь и смятение, один за другим батальоны будут самоотверженно идти вперед и гибнуть, поддерживая священный огонь. Но пока нам еще кажется, что солнце сулит мир. На три дня выюга заперла нас в нашем логове, свистала во все щели и задувала крупы снега и стужи, намела под дверью сугробы, внушительные, не хуже горы Бельганте; выюга держала нас на суровом пайке, пыталась заставить пасть духом. И вот так три дня. А сегодня небо льет теплые струи света на горы, ошалевшие от такой благодати. Солнце припекает кожу, жар под веками — да здравствует лето.

А мы ведь не безупречны.

Толки и пересуды, язвительные, пропитанные ядом шуточки. Эгоизм вкупе со злобой.

Страх смерти, скрытый под личиной хитреца и мошенника.

С твоим фонарем, Диоген, я рыщу в потемках, пытаюсь разгадать, что у товарищей на душе, — но правда каждый раз

ускользает. Благородные, высокие идеалы, святость жертвы... А вот в свою душу даже не пытаюсь заглянуть — из страха обнаружить там слишком уж темные бездны.

Иной раз душит тоска.

Тоскливо, оттого что время идет невыносимо медленно и оттого что оно с поразительной быстротой обращает насыщенное, живое прошлое в бледную тень.

Тоска душит, оттого что не удастся положить на бумагу мозаику образов, которыми выложен вон там снег.

Тоска, потому что никак не примирить противоречий.

Мы облеплены сомнениями, страхом, а в глубине сердца плотным слоем осели нераспознанные и неназванные чувства: а вдруг слово «родина» — вот именно, эта одряхлевшая и чахлая идея родины — все-таки имеет какой-то вес.

Сегодня хочется стать дезертиром.

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

## Примечания

Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Песнь XXIV, ст. 70–72. Перевод М. Лозинского.

«Готово, поджигай» (нем.).